



ВЕСНА ПОСЛЕВОЕННОГО ДЕТСТВА

В этом году моему отцу исполнилось семьдесят лет, и все мы — я, сестра Людмила и наши семьи — готовились отметить эту дату. Мы живем в разных городах, но заранее списались и договорились преподнести сюрприз отцу — нагрязнуть к нему всей оравой. Но нашему плану не суждено было сбыться.

Вечером, когда я смотрел по телевизору очередную игру наших хоккеистов с канадцами, раздался стук в дверь. Нехотя поднимаясь, иду открывать. Почтальон с порога протягивает телеграмму. Беру, читаю: «Выезжай. Отец серьезно болен. Мама». Гляжу на часы: до отхода поезда полтора часа. Пока жена вертит в руках телеграмму, я достаю портфель, складываю в него белье, сажусь и пишу записку. Жене говорю: «Отнесешь в управление...»

Хожу по перрону в ожидании поезда. Вокруг белым-бело. Днем майское солнце пригревало, а к вечеру похолодало, выпал снег. Эх, Сибирь-матушка! На мне туфли на толстой подошве, шерстяные носки, а ноги мерзнут. Суставы всю неделю болели — и вот заморозки, и это в мае. Давненько такого не было. Пожалуй, последний раз это было в 1942...

Только тогда все-таки снегу было больше. Мы сидели на уроке и смотрели не на учительницу, а в окно. Снег валил и валил хлопьями. Все ребята-первоклашки, в том числе и я, пришли в школу в легких тапочках. На дворе было тепло...

Школа была деревянная, а нашу, каменную, заняли под казарму. После уроков мы ходили на футбольное поле и смотрели, как новобранцы обучаются. Мы вдоволь потешались над теми, которые ползали под колючей проволокой и цеплялись за колючки штанами.

Подождал поезд, сел я в свой вагон, застелил нижнюю полку и лег. Что-то не спится. Тревожные мысли одолевают меня. Что там дома, как отец? Да, бегут годочки. Став сорокалетним, гляжу на себя как бы издали. Несколько лет назад я вот так же ехал к родителям. Увидел из окна вагона березовые леса, горы, поросшие тайгой, защемило сердце.

Утром я вышел из вагона, пересек привокзальную площадь, сел в трамвай до Точилино. В молодости я только и ездил на нем — из

дома на работу и обратно. Как все до боли знакомо: и эти высотные здания, сменяющиеся горами, сплошь застроенными частными домами.

Вот и наш дом, почерневший от времени. За оградой посадки малины, кусты смородины, крыжовника и, конечно же, яблони. Через несколько дней, когда наступит тепло, все это зацветет. По другую сторону дома — грядки. С солнечной стороны — цветник. С весны и до поздней осени дом утопает в зелени.

Стою на пригорке, смотрю на дом. Его строили после войны. Отец, когда вернулся с фронта, получил ссуду, облюбовал место рядом с быстрым ручьем и березовым колком, за которым начинаются колхозные поля, и начал строительство. Худощавый, подвижный, он работал тут по вечерам и в выходные дни. С первым снегом мы въехали в новенький дом, пахнувший краской.

Помогал строить и я. Подавал инструмент рабочим, таскал воду из ручья, просеивал песок и шлак для раствора, в общем, делал всю посильную работу, на которую был способен одиннадцатилетний парнишка.

Иногда на стройку приходил дядя Федор с сыном Михаилом, которому было двадцать три года. Он успел повоевать, имел награды. Мне нравилось слушать его рассказы о войне. Я слушал и смотрел на него, как на бога, когда он стучал себя в грудь и говорил: «Мы, сибиряки, поддавали фашистам». Показывал, как косил из пулемета вражеские цепи...

Отец, раскладывая еду на свежесрубленном столе, который стоял на лужайке во дворе, усмехался, хитровато посматривал то на меня, то на Михаила: давай, мол, заливай мальчишке. А потом и сам начинал рассказывать.

Рассказывать отец любил. Он пришел с войны с орденом и тремя медалями. Часто в нашу комнату на старой квартире набивалось много народу. Отец обычно стоял посредине комнаты и был суровым и мужественным. И замечал я, как он еще крепок, какие у него жилистые руки с бугристыми мускулами.

Отца не перебивали. Женщины прикрывали глаза платками, а некоторые сидели с окаменевшими лицами, боясь шелохнуться. У многих из них мужья и сыновья не вернулись с войны. Заканчивал отец свои рассказы всегда неожиданно. Вдруг замолчит, задумается, тихо дойдет до окна, распахнет его, посмотрит на улицу, а когда повернется, в комнате, кроме меня, сестренки и мамы, никого нет. Тогда он садится писать. Берет ручку, бумагу... В комнате тесно, душно. Электрический свет мешает спать. Мама ворчит:

— Ложился бы. Кому это нужно-то, кому? Ну, пережил, испытал, но зедь вернулся жи-

вой и невредимый. Все забудется, зарубцуются...

Отец поворачивался, смотрел на маму, кивал в нашу сторону:

— Им надо, детям... И внукам...

Писал отец свои воспоминания лет десять, а может, и больше. Со временем все меньше находилось желающих слушать его рассказы о войне. Может, оттого, что он теперь читал, а написанному как-то меньше верили. Однажды машинист парового крана железнодорожного цеха Панков (отец был его помощником), мужчина солидный, рассудительный, всю войну проработавший на меткомбинате, махнул рукой и сказал:

— Оставь это, сосед. Былое былым поросло. Не бери душу себе и людям. Народ забывать войну стал, понимаешь, а ты все свое...

Панков зевнул, поднялся:

— Бывай, сосед. Мне пора...

Когда за ним закрылась дверь, я обиделся за отца. Лицо Панкова — круглое, гладкое, стало мне противным. Ну, посидел бы да послушал, не убыло бы. Раньше лезли, никто и не звал. Теперь только и слышишь: «Время нынче другое...» Может, и так. Однако в печати время от времени появляются сообщения о судах над предателями Родины и военными преступниками.

Читая справедливые приговоры, отец удовлетворенно кивал, тихо говорил: «А эти... Простить за давностью? Нет, ни забывать, ни прощать нельзя». Как-то отец запечатал рукопись и отнес на почту. Месяц ходил веселый, напевал фронтовые песни. Работа у него в руках спорилась. Он начал строить баню.

Через месяц рукопись вернулась. Отец долго держал перед собой листок бумаги, а потом сказал: «Я не писатель, все верно. Пусть эти тетради, когда станешь взрослым, расскажут тебе, Андрей, о моей молодости, научат тебя добру».

Шли годы... Отец сильно изменился. Здоровье, подорванное на фронте и в плену, сдавало: лицо пожелтело, глаза потускнели. Мне иногда хотелось подойти к нему, обнять, как-то отвлечь от мрачных мыслей. Он не очень-то баловал меня лаской: «Давай, сынок, без этих нежностей, — говорил он мне. — Главное, чтобы ты рос крепким — и телом, и духом».

Подхожу к воротам, просовываю руку в отверстие и откидываю задвижку. К крыльцу ведет дорожка из бетонных плит. Иду мимо пристроек. В той вон стаечке держали поросят, кур, а в той — уголь и дрова, а там — баня. Подхожу к двери и сталкиваюсь с мамой: увидела меня в окно и выбежала навстречу.

— Здравствуй, сынок, — она протягивает ру-

ки и обнимает меня. — Отец-то плох, не дождется, когда приедешь.

Мама постарела, волосы редкие и совсем седые. Я как-то не заметил, когда она состарилась.

Отец лежит на кровати. Увидел меня, улыбнулся, сказал довольно бодро:

— Здорово, сынок. Быстренько прикатил. Молодец. Думал, что уж не увижу.

— Ты, отец, не паникуй. Отлично выглядишь, — ответил я, снял пальто. Смотрю на него: осунулся, и я понял, что этот бодрый тон стоил ему больших усилий. И вообще, я всегда удивлялся его выносливости. Не помню, чтобы он болел, жаловался на усталость, хотя порой и замечал: на пределе отец, вот-вот свалится. Но проходило время, и он вновь улыбался, был весел, свеж и бодр. Такие, как мой отец, если уж свалятся, то веришь: это серьезно.

Мама накрывает на стол. В войну она работала мотористкой в том же железнодорожном цехе. Уходила рано утром, когда мы с сестренкой еще спали, и приходила поздно ночью. Оставляла на день продукты, и я варил пшеничную кашу на воде и картошку. Люд-ка плакала и просила есть.

Соседи помогали, как могли. И если я кому благодарен, то это моему другу Толяну, молчаливому, изобретательному и душевному, который постоянно подкармливал меня и сестру, хотя им самим жилось несладко. Но им было легче потому, что его отец был дома, зарабатывал хорошо.

Осенью мы с мамой выкопали картофель, который сажали в поле, вывезли на тележке, ссыпали в подвал. Теперь и голод был не страшен. Эх, картошка родная. Что бы мы делали без нее, чем бы питались.

— Садись, Андрей, за стол, — слышу голос мамы.

На столе — жареный картофель, вареная говядина. Чуть в стороне — графинчик с водкой и соленья: помидоры, огурцы и даже соленый арбуз.

— Как друзья мои поживают? — спросил я у мамы, усаживаясь за стол.

— Толян был вчера, о тебе все расспрашивал. С отцом посидел... Сходил бы к нему. Уехал и живешь бирюком.

В ее словах я уловил укор... Что поделаешь, если у меня так сложилось. А для мамы мой друг всегда Толян, хотя он давно уже Анатолий Кузьмич, заслуженный сталевар.

С Толяном мы дружили с детства. Были одноклассниками. Вместе пошли в школу. Он был крепышом, но, несмотря на это, его частенько поколачивали в школе. Как-то он пришел ко мне во второй «а», стал у моей парты, разма-

зывая слезы. До звонка е... Он показал ему и влез... гал глазами ушел.

С тех пор больше. У него ходил к ним... мне тетя П... на эту семью... осенним ве... он метался... его всей ули... но, знали др... на работу, за детьми.

После см... бывало, соб... чугуна карто... зы:

— Ешьте. Вон как на...

Померла... ронила сын... Дом наш... и кормил. Л... вырученные... лян принес... ли Людку... улице Толя... на рынке.

— Ты в... — Когда... нулся он.

Мы пошл... шись через... ку — длинн... отогнул ф... стоял и жд... ходили му... авоськами, ные, крикл... На прилав... лезвия, пуг... сметана, п... ки...

Вылез То... шли к заб... лись во дв... венский хл... вволю.

Вечером под прилав... ся этому... ошибся. На... лавок, уви... ленький. Я... тором был... не хватило

зывая слезы. Мы пошли с ним в его класс. До звонка еще оставалось несколько минут. Он показал мне обидчика, я смело подошел к нему и влепил пощечину. Драчун сидел и моргал глазами, я же, погрозив классу кулаком, ушел.

С тех пор Толян привязался ко мне еще больше. У него был еще и братишка. Я часто ходил к ним. Особенно хорошо относилась ко мне тетя Полина. Но неожиданно-негаданно на эту семью свалилось несчастье. Холодным осенним вечером малыш заболел. Всю ночь он метался в жару, а утром помер. Хоронили его всей улицей. Как-никак, а мы жили дружно, знали друг друга. Наши родители, уходя на работу, поручали соседям присматривать за детьми.

После смерти младшенького тетя Полина, бывало, соберет детвору, поставит большой чугунок картошки на стол и скажет, утирая слезы:

— Ешьте, ребята. И не бегайте босиком. Вон как на улице холодно.

Померла тетя Поля через месяц, как похоронила сына.

Дом наш стоял у базара, который поил нас и кормил. Летом мы торговали водой, а на вырученные деньги покупали еду. Как-то Толян принес целый туесок сметаны. Мы позвали Людку и выхлебали сметану ложками. На улице Толян признался, что стащил туесок на рынке.

— Ты в своем уме? — испугался я.

— Когда сметану ел, чего думал? — усмехнулся он. — Идем, покажу, как это делается...

Мы пошли с ним на рынок. Там, пробившись через толкучку, мы подошли к прилавку — длинному торговому ряду. Толян присел, отогнул фанеру и нырнул под прилавок. Я стоял и ждал, что будет дальше. Мимо проходили мужчины и женщины — с сумками, авоськами, холщевыми мешками, озабоченные, крикливые, препиравшиеся с торговцами. На прилавках чего только не было: иголки, лезвия, пугачи с глиняными пулями, соленья, сметана, пирожки из картошки, мед, семечки...

Вылез Толян. В его руках сумка. Мы подошли к забору, перелезли через него и оказались во дворе клуба. В сумке оказался деревенский хлеб и сыр. В общем, наелись мы вволю.

Вечером Толян учил меня бесшумно лазить под прилавками. Мне казалось, что я научился этому и переплую друга, но жестоко ошибся. На следующий день я залез под прилавок, увидел два бидона — большой и маленький. Я пожадничал, взял большой, в котором был мед, потащил к дырке, но силенок не хватило, и я уронил его на ноги торговке.

Она взвыла от боли, выволокла меня, а подоспевший пасечник начал охаживать меня бичом. Толяну не попало, он вовремя сбежал.

Он меня встретил у подъезда, сказал жалостливо:

— Ладно, Андрюха, не будем больше. Это я, дурак, во всем виноват.

Это было летом 1944 года. Мне тогда было десять лет. Васька, наш сосед, видел, как меня хозяин пасеки лупцевал. Он с утра до вечера болтался по базару с протянутой рукой. Завидя нас, он дразнился. Мы убежали от него, но он ходил за нами по пятам, улюлюкал. Мы его поколачивали, но это не помогало. Он был жалок в своей рваной рубашке, залатанных штанах, с холщовой сумкой через плечо. Потом мы просто перестали обращать на него внимание, и он от нас отвязался.

Позже, когда вернулся с войны мой отец, а Толяна отец женился, мы нашли для себя интересное занятие. Мы залазили на чердак нашего кирпичного трехэтажного дома и читали книги. Незнакомый, неясный мир открылся нам, удивительно прекрасный. Я плохо разбирался в страстях и мыслях человеческих, но они подымали во мне бурю. А еще через несколько лет мы с Толяном бросили школу и поступили в ремеслуху. Его, крупного, взяли в группу сталеваров, а меня в группу токарей.

Я сижу у кровати отца. Рассказываю ему о своей работе, жене и сыновьях. Особо рассказал о старшем, который служит в армии. Мама прислушивается к нашему разговору. Отец улыбается, когда говорю о младшем сыне.

— Осенью в школу? — отец смотрит куда-то в сторону. — Читает уже всю? Вот повидать бы... Летом приезжайте. Неужто не доживу? — Отец смотрит вопросительно. В его глазах боль и тоска. Сам отвечает: — Доживу, как пить дать.

— Конечно, отец. Сам рассказывал, что дед и прадед жили по девяносто.

— Да это ж кержаки были. На вольных-то сибирских хлебах, да на медку липовом, опять же охота, промыслы. Они того не испытывали, что досталось на мою долю... — Отец глазами показал на потолок. — На чердаке тетради. Двадцать с лишком годочков лежат. Забери-ка. Внуки читать будут. Чего им там лежать-то...

Видно, что отец устал. С трудом ему дался этот разговор. Он закрыл глаза. А я выхожу на улицу, поднимаюсь по приставной лестнице на чердак. Внуки, говорит, читать будут. А если не захотят? Эта война для них далекая и уже всеми забытая.

Переворотив рухлядь, я нашел знакомый

чемоданчик, поднял, и у него отвалилось дно. Посыпались полуистлевшие тетради. Я собрал все, спустился вниз. В бывшей моей комнате разложил их на столе, начал просматривать. Две трети тетрадей погибло. Как жаль?

Я зашел к отцу. Он спал. Мама сидела на стуле и вязала отцу носки.

— Лег на днях на кровать, стонет: «Тяжко мне, помираю...» Я за Кузьмой сбегала, отцом Толяна. Пришел Кузьма, посидел малость и за врачом, — начала она тихо. — Приехала врач. Осмотрела она отца, потом и говорит: «Паралич у него. День-два поживет... Давай-те, говорит, адрес сына и дочери, я дам телеграмму...» Она часто к нам приходила, наша участковая. Я ей и о тебе рассказывала, и о Людке. Вот ты и приехал. И сестра должна вот-вот нагрянуть.

Я прошел в свою комнату, лег на кровать. Ни о чем не хотелось думать. А тетради надо увезти домой, как память об отце. Вот они — лежат на столе и пахнут плесенью. Беру сверху, по порядку, начинаю читать, с трудом разбирая написанное, потому что во многих местах чернила расплылись, а кое-какие страницы вообще прочесть невозможно.

27 мая 1942 года нашу часть окружили немцы. После нескольких ожесточенных боев мы остались без боеприпасов и продовольствия. Бойцы залегли в лог. Отстреливаться нечем. Спасаясь от фашистских танков, к нам пробиваются окруженцы из других подразделений.

Но лог обложили танки. Из рупора несется: — Руська зольдат! Сдавайся!

Лежим, уткнувшись в землю. Никто не поднимается. Надеемся, что подойдет подкрепление. Громыкнули пушки. Слышатся стоны раненых.

На третьи сутки пошли на прорыв. Немцы не ждали этого от нас — практически безоружных. Полегло наших тогда немало. Те мои товарищи, которым удалось прорваться, наверное, посчитали меня убитым. Словом, очнувшись я от раздавшейся рядом автоматной очереди. Во рту соленый привкус крови...

Немцы добивают раненых, которые не могут идти.

В душе пустота. Мозг сверлит одна мысль: как бы не упасть. Безысходность угнетает.

День жаркий. Внутри все горит. Очень хочется пить. На пути попадаются ручейки, но к ним нас не подпускают. Когда проходим по селам, женщины ставят на дорогу ведра с водой. Немцы опрокидывают их ногами.

К вечеру нас подогнали к реке. Место низкое, заболоченное. Приказали ложиться. Ночь ужасная: холод, пронизывающий до костей, комарье. С восходом солнца поднимаемся по

команде. Грязные, с опухшими лицами, шатаемся от усталости. Нас снова строят. Я поддерживаю земляка, соседа Петра Гаркала. Мы жили рядом. Сыновья наши дружили. Мы поклялись держаться вместе. Хорошо, что он не ранен, просто обессилел. Сбоку, на бугре стоит эсэсовец и посматривает в нашу сторону.

— Быстрее, Петр, быстрее, — говорю я ему, — иначе это болото станет для нас могилой.

— Не бросай, ради бога, вот только ноги разойдутся, — стонет он.

— Скажешь... бросить... Васятке твоему как в глаза смотреть буду? — говорю ему, а сам думаю: «Не завалиться бы. Тогда конец... Нет, врешь, фашист...»

Выволакиваю Петра на дорогу. Пристраиваемся в хвост колонны. Примерно километров через десять — пятнадцать привал. Садимся на дорогу. Рядом — большая лужа, и я беру пару котелков, подхожу к офицеру. Он понял меня, кивнул. Со мной пошли еще несколько человек. Едва мы подошли к луже, как раздалась команда, колонна поднимается. По нас открыли огонь. До колонны добежал я один. Первым делом напоил Петра, и он немного взбодрился.

После полудня колонну остановили. Немцы подвезли продовольствие. Фашисты стали швырять хлеб прямо в колонну.

— Отставить, перестаньте драться, — кричит один из пленных. — Они потеряли все человеческое, хотят из нас сделать животных...

Я разжимаю кулак, и на землю высыпались хлебные крошки — все, что мне удалось добыть. Что же мы делаем? Колонна замерла. Появился офицер.

— Коммунист? — ткнул он пальцем в грудь красноармейца, подавшего команду. — Политрук?

Двое немцев схватили пленного под руки, посадили в мотоколяску и увезли. Видя, что спектакль провалился, фашисты засуетились, быстро организовали раздачу продуктов. Пленные санитары получали пайки и кормили раненых и больных. Некоторые раненые подходят к кухне и получают еду. Вдруг офицер задерживает двух, разматывает на них бинты. Ран не оказалось. Он ставит их около себя, достает пистолет и расстреливает. Кажется, именно тогда я решил бежать. Любой ценой.

...До пересыльного лагеря под Харьковом дошли немногие. Было темно, когда нас туда загнали. Шел дождь. Мы попадали от усталости на землю. Я забылся. Вокруг стонут. Петр Гаркал тихо смеется. Я толкаю его в бок, и он затихает. Нас тут несколько тысяч.

После двух групп для Гаркала отпобняться с чайно говоря! Сыну шал, что дося: он, оказберусь. Он рил: «Ты, Пкержацкая —

Колонну стоял состав вагоне было ную. Когда шались стон и они стоял

На Жито привели в лших военны. Немец чере среди нашецы, комисса

— Кто смчик, толстотью на запне будем, едем...

Полицайовек. Гест

— Вот втеяли войну сражаться.

Обреченнывыстрелы, строиться трупов. Полвине пленнысыпают прразмешива

После обовек попотом холоками сталися в очереполосатой. Когда нас на вокзал.

Попал я была быви стороны еелые башнидокачки. Здания, за

провели в темно и сподвал осе

— Мыони. — Че

После двухнедельного карантина я попал в группу для отправки в другой лагерь. Петра Гаркала отправили днем раньше. Мы успели обняться с ним. «Пропаду я, пропаду, — отчаянно говорит он уже из колонны. — Прощай! Сыну Васятке передай...» Я не расслышал, что должен передать его сыну, удивился: он, оказывается, верит, что я отсюда выберусь. Он и на призывном пункте мне говорил: «Ты, Пичугин, крепкий. Закваска у тебя кержацкая — все выдюжишь».

Колонну подогнали к железной дороге, где стоял состав, и посадили в товарняки. Нас в вагоне было так много, что мы стояли вплотную. Когда мы поехали, стало душно. Послышались стоны. Мертвых из вагона не выносили и они стояли вместе с нами.

На Житомирском вокзале нас высадили, привели в лагерь, который находился в бывших военных казармах, построили на плацу. Немец через переводчика спросил, есть ли среди нашего брата коммунисты, комсомольцы, комиссары, политруки, командиры...

— Кто смелый, выходи! — крикнул переводчик, толстомордый, в немецкой форме, с плетью на запястье. — Язык отжевали? Вешать не будем, если сами признаетесь. А вот найдем...

Полицаи выволокли из строя несколько человек. Гестаповец повысил голос:

— Вот вам комиссар и евреи. Это они затеяли войну и заставили вас, простых людей, сражаться. За это мы их расстреляем.

Обреченных отвели в сторону. Раздались выстрелы. Нас завели в ограду, приказали строиться на обед. Проходим к кухне мимо трупов. Получаем по черпаку баланды. Половине пленных баланды не хватает. В чан насыпают прелую муку, заливают кипятком, размешивают и раздача продолжается.

После обеда — баня. Под душ загоняли человека по пятьдесят. Сначала теплая вода, потом холодная. Появились полицаи и дубинками стали выгонять на улицу. Выстраиваемся в очередь за новым обмундированием — полосатой робой и деревянными башмаками. Когда нас «обмундировали», вновь погнали на вокзал...

Попал я во Львовский лагерь смерти. Это была бывшая австрийская крепость. По обе стороны ее, на углах, возвышались две круглые башни, похожие на железнодорожные водоканалы. Загнали нас внутрь трехэтажного здания, закрыли за нами железные ворота, провели в подвальное помещение. Здесь было темно и сыро. Сели на бетонный пол. Вдруг подвал осветился. Появились два полицая.

— Мы тюремные старшины, — объявили они. — Чего молчите? Помирать собрались?

Нет, доходяги, вам тут сразу сдохнуть не дадут. Хоронить умерших кто будет?

— Да вас же холуев и заставят. Задарма, что ли, немецкий хлеб жрете? — слышалось из глубины подвала.

— Поговори там еще, доходяга, — бросил полицай, который был повыше ростом, худой, с усами. Он стоял ближе ко мне, и я мог хорошо его разглядеть. — Чего уставился? — Он двинул меня ногой. Первый же, толстячок, хихикнул:

— Жратвы не будет... Не приготовились... Кто знал, что вас будет так много. Завтра получите — каждый свое...

На другой день меня зачислили в похоронную команду, выдали длинную палку с крючком на конце. Мы ходили по камерам, вытаскивали умерших заключенных и складировали в штабеля. Другая группа пленных грузила трупы на подводы и увозили на кладбище.

Пробыл я здесь несколько месяцев. Каких только издевательств фашисты не придумывали. Разденут человек двадцать донага, дадут в руки плети, поставят в две шеренги лицом к лицу, прикажут бить друг друга и кричать: «Мы преступники, мы преступники...» Или делали клетки из колючей проволоки. Сажали в клетки по человеку, и они сидели там, согнувшись, часами. Такие клетки стояли рядом и там, где пленные проходили на обед...

Откладываю тетради в сторону. Голову стиснуло, будто обручем. Хочу заснуть, но не могу. Кое-что из прочитанного я слышал от отца, но тогда воспринималось все иначе. Что я знал тогда о смерти?

Вспоминаю, как мы с Толяном впервые пленных немцев увидели. Не в кино, а в нашем городе! Летом это было. Тогда облетела весть: на вокзал прибыл эшелон с немцами. По обеим сторонам проспекта выстроились горожане. Многим хотелось посмотреть, какие же они? С любопытной жадностью вглядываемся в них.

Пленные немцы чисто выбриты. Обуты в добротные ботинки. После мне не раз приходилось видеть колонны немцев. Зимой они были тепло одеты в полушубки и фуфайки, летом — в зеленых френчах. Иногда они улыбались нам, но мы не отвечали им. Для них война окончилась, а для нас она продолжалась. Они знали, что вернутся домой, а мы продолжали получать похоронки.

Сразу после войны пленных расконвоировали. Они свободно ходили по городу, выстраивались в длинные очереди у пивных ларьков. Никто к ним не подходил, не приставал, кроме ребятни. А вскоре они промаршировали по городу на вокзал.

В голове отрывочные эпизоды из далекого детства. Отгоняю их прочь. Что-то Людмила нет. Она живет в Горной Шории, работает на руднике после окончания института. Возможно, она задержалась из-за снежных заносов. Вероятно, в эти минуты бульдозеры расчищают дорогу, а за ними движутся машины с рудой, и в одной из них, в кабине, сидит сосредоточенная Людмила.

Сестра на четыре года младше меня. О том времени помнит мало. Всю войну она просидела в комнате, играла в куклы. Бывало, когда мы собирались вместе, я рассказывал о детстве. Мама кивала головой, отец помалкивал, а она удивленно говорила:

— Не может быть... Ну сочинитель... Совершенно этого не помню.

Я злился, а она строгая, красивая, пожимала плечами. Ее не мучают воспоминания о детстве. Рука невольно тянется к отцовским тетрадам. Знаю, что там будет борьба, переживания, боль, надежда... Такова жизнь!

Читаю дальше.

...Из Львова я попал в Станислав. Под усиленным конвоем нас прогнали по всему городу к лагерю, который был огорожен каменной стеной. В центре стояли кирпичные конюшни. Они и служили пристанищем для военнопленных.

Нас заперли в отдельной половине конюшни на трехдневный карантин. Утром всех подняли на проверку, после чего выдали завтрак — по пол-литра баланды. Тут же, через проволоку, мы познакомились с нашими соотечественниками. Это были ходячие скелеты. Одежда на них висела клочьями. Если бы кто глянул на них со стороны, испугался бы. Но мы уже привыкли ко всему, да и сами выглядели не лучше. Они нам рассказали, что их осталось триста человек примерно из сорока тысяч.

Эта конюшня была адом. В ней помещалось до тысячи человек. Коек не хватало. Посредине наваливали солому, и в нее зарывались, спасаясь от холода. Среди нас были раненые и больные. Фашисты, как правило, ни раненым, ни больным помощи не оказывали. Они просто стреляли в солому, убивая тех, кто не поднимался. Трупы долго не убрали. Живые по несколько ночей спали рядом с мертвыми.

После карантина нас заставили оборудовать корпус для французских и голландских военнопленных. Фашисты спешили: каждая группа получала конкретное задание. Мы были истощены, еле передвигались и заданий, естественно, не выполняли. За это нас лишали пищи, били плетью.

Не забыть фашиста: худого, в очках. Его мы называли рыжим чертом. Он никогда не

расставался с палкой и карабином. Его боялись как огня. Кто попадал в его группу, прощался с жизнью. Обычно в лагерь он приводил одного-двух из десяти.

...Неподалеку от лагеря было несколько холмиков и администрация решила их разровнять. Гоняли нас на работу по сорок-пятьдесят человек. Работали под руководством пожилого прораба. Он был грузным, низкого роста, по-русски говорил сносно.

Землю мы возили тачками. Прораб следил, чтобы каждый насыпал с верхом. Если кто вез неполную, он останавливал, приказывал досыпать, впрыгивал на тачку и утапывал землю сапогами. Иногда он усаживался в нее, стегал пленного и тот вез его до тех пор, пока не падал. Мы вздохнули свободно, когда узнали, что он за хорошую «службу» получил отпуск и уехал домой.

Прораб из отпуска вернулся быстро, сильно изменился. Он сидел где-нибудь в сторонке, понуро опустив голову, изредка покрикивал:

— Помалу, помалу...

56

Как-то он подозвал пленного, который вез неполную тачку. Усадил его рядом, угостил сигаретой. Мы издали наблюдали, что будет дальше. Смотрим, немец полез в карман. Ну, думаем, конец пришел нашему товарищу. Однако прораб достал бумажник, что-то показал пленному, и они еще несколько минут поговорили, затем пленный взял свою тачку и поспешил к нам. Тут мы узнали, что прораб приехал в Мюнхен, но семьи своей не нашел.

Накануне союзники бомбили город, и дом, где жила его семья, был разрушен. Жена, две дочери, внук погибли. Он плакал, когда показывал фотографии своих близких пленному, на чем свет клял Гитлера.

Когда помещения были нами подготовлены, прислали голландцев. Их было около ста человек. Они шли строем по пять человек. В руках у каждого по два чемодана, все в новенькой военной форме. Нам и в голову бы не пришло, что это пленные.

Мы наблюдали за ними из-за колючей проволоки. Вот передние остановились. Они кричали нам: «Здравствуй, русишь!» Некоторые подошли ближе. Они долго всматривались в нас, а потом стали задавать нам вопросы. Они сразу заинтересовались, почему мы такие худые и оборванные. Офицер, который стоял у самой проволоки, сказал, что мы не человеки, а бог знает кто. Он хорошо говорил по-русски, переводил своим наши ответы... Когда они узнали, как нас кормят, как с нами обращаются, стали возмущаться. Через проволоку полетели к нам сигареты, спички, хлеб, сыр.

Я давно уж по комнате, и кладу их нью, и я отк

— Здравствуй, возмущаюсь. рить только чун, лгунишки и преступники мо — огонек.. Васька, как са чувствую. соседка мне ворит, к Пич фелем на дв нулся, показ по горлу. —

Он стоит ред моим окном костюме мышкой — ф бак, дунь — ным, хитрым вдвоем уда только не вы вырывал из разбивал чер По-человечес говорить, да вами, если б от которой

— Заходи. Наших от фронт. В од Но мой-то о как после во моего отца. последнее при

Отец все н ды за мной мне мизинец те. Он расс встречать с отец погиб.

— Получи Их вместе в Не пишет п глотал Вась скажу, айда ля выгнал...

В тот день щаемся дом немного отст меж лопато горок, смотре гад, за что у ствовал.

Васька зн чит сдачу. I

м. Его боя-
руппу, про-
он приво-

несколько
их разров-
рок-пятьде-
ством по-
м, низкого

аб следил.
если кто вез
азывал до-
тывал зем-
ался в нее,
ех пор, по-
одно, когда
у» получил

тро, сильно
в сторонке,
окрикивал:

оторый вез
м, угостил
что будет
арман. Ну,
ришу. Од-
о-то пока-
минут по-
ю тачку и
о прораб
не нашел.
од, и дом,
ден. Жена,
кал, когда
их пленно-

готовлены,
ло ста че-
человек. В
все в но-
голову бы

ючей про-
Они кри-
Некоторые
ивались в
м вопросы.
у мы такие
рый стоял
не челове-
говорил по-
еты... Ког-
ак с нами
Через про-
ички, хлеб,

Я давно уже не лежу на кровати, а хожу по комнате, то и дело беру со стола тетради и кладу их на место. От них пахнет плесенью, и я открываю форточку.

— Здравствуй, Андрюха, — слышу голос и вздрагиваю. Так с шепелявинкой мог говорить только Васька Гаркал. Тот самый... Драчун, лгунишка, приставала, а потом пьяница и преступник. — Не ожидал небось? Иду мимо — огонек... Дай-ка, думаю, загляну, — врет Васька, как обычно. Ведь по интонации голоса чувствую. — Если сказать по совести, то соседка мне весточку принесла: приехал, говорит, к Пичугиным сын — важнецкий, с портфелем на двадцать пузырей. — Васька улыбнулся, показав щербатый рот, щелкнул себя по горлу. — Ну, наливай, обмоем встречу.

Он стоит по ту сторону ограды, прямо перед моим окном. Маленького росточка, в черном костюме, белой нейлоновой рубашке. Под мышкой — фуфаячка. С виду-то Васька слабак, дунь — улетит. В детстве же был коварным, хитрым и ловким. Нам с Толяном только вдвоем удавалось совладать с ним. И чего только не вытворял: воровал у нас учебники, вырывал из них страницы и делал голубей, разбивал чернильницы, ломал о парту перья... По-человечески надо бы сесть за стол да поговорить, да посмеяться над детскими забавами, если бы не одна обида, самая большая, от которой по сей день болит сердце.

— Заходи, раз пришел, — приглашаю я.

Наших отцов в один день призывали на фронт. В один день мы получили похоронки. Но мой-то отец вернулся, а его нет. Помню, как после войны я бегал на вокзал встречать моего отца. Он писал нам из Германии, а последнее прислал прямо из Берлина.

Отец все не приезжал, но я ходил. Однажды за мной увязался Васька. Он протянул мне мизинец: «Чур не драться...» Идем вместе. Он рассказал, что тоже ходит на вокзал встречать своего отца. Он не верит, что его отец погиб.

— Получили же вы письмо, — бубнил он. — Их вместе взяли. Значит, и мой едет с твоим. Не пишет потому, что тайно хочет приехать, — глотал Васька слезы. — А я тут как тут: батя, скажу, айда домой. Я уж и мамкиного хахалю выгнал...

В тот день мы никого не встретили. Возвращаемся домой подавленные. Вдруг Васька, немного отстав, вlepил мне булыжником промеж лопаток. Отбежал в сторону, сел на пригорок, смотрит, как я корчусь от боли. Вот гад, за что ударил? А я поверил ему, сочувствовал.

Васька знал, что рано или поздно он получит сдачу. И получил. Когда мой отец вер-

нулся домой, я отомстил Ваське. Он тогда возвращался домой с вокзала. Я из кустов вlepил ему из рогатки. Он схватил камень, закрутился волчком, но его всюду настигали мои выстрелы. И Васька завопил:

— Сволочь, Андрюха! У тебя батя вернулся, а мой где? Их же вместе забирали-и-и...

...Выхожу навстречу. Василий протягивает мне руку, скромно улыбается, и мы впервые в жизни обмениваемся рукопожатием. Садимся за стол. Он молча берет стопку с водкой, смотрит на свет, его лицо испещрено множеством мелких морщин, волосы на голове редкие, поседевшие, а глаза бегающие, стыдливые. Я потрясен: передо мной почти старик. Он выпил залпом, поставил стопарь на место, сказал:

— Наливай еще, я после первой не закусываю...

— Перебьешься... И не корчи из себя героя из известного фильма!

— Дружок наш общий Анатолий, то бишь Толян, здорово помог мне, когда я вернулся оттуда, — начал Василий, не обратив никакого внимания на мои слова. — Устроил на работу в слесарку. Толяна в городе знают. Ста-левар... Фигура! Хотя мог бы устроить в свой цех. Все-таки горячий цех, льготы и все такое. Но, как говорится, и на том спасибо...

Рот у Василия дернулся, и он прикрыл его ладонью:

— Привел меня к батьке своему, так я с его стариком и живу. Все-таки стесняется меня мой детский дружок. К отцу ходит, когда я на работе. К себе, упаси бог, ни разу так и не пригласил. Вот так и живу, не женился, Светку, жену свою бывшую, забыть не могу.

Василий взял бутылку, налил себе еще, выпил, пожевал соленого огурца, продолжил:

— Не могу забыть, — он закусил губу, щеки его побледнели, и я на мгновение уловил в нем черты прежнего Васьки, а потом его лицо вновь стало мрачным, глаза потухли. Он больше ничего не говорил, сосредоточенно думал и, казалось, совсем забыл, что сидит у меня в гостях.

Я унес бутылку, и он даже не заметил этого... Вспомнилось: мы уже не дрались, не швырялись камнями. Мы повзрослели. Не могу до сих пор понять, чем он пленил Толяна. Стал я замечать, что друг мой сторонится меня. Я стал их видеть в кинотеатре, в городском саду. Говорил с Толяном, но он либо от-малчивался, либо говорил односложно:

— Что старое вспоминать. Мы уже не дети. И друзей я выбираю сам.

Васька торжествовал. Он отнял у меня дру-га, с которым мы провели самые трудные го-ды. Нас с Толяном многое связывало, а что могло быть между ними — совершенно разны-

ми людьми? Я назвал Толяна даже предателем. Он закатил мне пощечину, ну я, конечно, дал ему приличную взбучку. Он, видимо, забыл, что я сильнее его, сталевара, а в детстве не раз защищал от пацанов, и от того же Васьки. С тех пор наши дороги разошлись. Терпеть не могу предателей.

Время шло. Я учился в вечерней школе, дружил со Светланой. Наши родители стали поговаривать о свадьбе, и она бы состоялась, если бы не Васька. Он преследовал Светлану повсюду: дарил цветы, писал страстные письма. Он был настойчив, одевался модно. Мне надо было давно что-то предпринять, но я верил Светлане, которую знал с детства.

Помню, как тетя Лена, мама Светланы, застала нас в постели. Она резко схватила дочь за волосы и стащила на пол.

— Дрянь бесстыжая!..

Светлана поднялась, глазенки ее сверкали.

— Мы с Андрюхой решили пожениться... И не вмешивайся в мою личную жизнь, — сказала Светлана и передернула плечами. — Комедию тут разыграла. Забыла, как тут гулянки с мужиками устраивала? Я с Андрюхой жить буду, а тебя в упор видеть не хочу... Мораль еще читает!

— Уходи, Андрей, — повернулась она ко мне, — малолетка она. Вот окончишь институт, тогда и свадьбу сыграем. Не послушаешься, к прокурору пойду...

Мне все-таки пришлось уехать. Перед этим я предложил такой план: поскольку и мои родители против нашей ранней женитьбы, я уезжаю в другой город, нахожу там квартиру, работу и тогда она, Светлана, придет ко мне. Она сказала: «Зачем уезжать? У нас большая квартира, у тебя вон какой домище! Да мало ли что матери вздумалось. Сама меняла женихов — тот ей не понравился, другой, третий. И мне хочет жизнь сломать...»

Светлана думала переломить мать своим упрямством. Но тут, как говорится, нашла кося на камень. А мне она выкрикнула в лицо, что я трус, негодяй, что никогда не любил ее. В тот же день Светлана ушла от матери.

В то лето шестидесятого года я с бригадой монтажников уехал в соседний городишко на строительство цементного завода. Вернулся через два месяца. Светлана за это время поступила в педучилище, жила в общежитии. Я пришел к ней вечером, но мне сказали, что она ушла с Василием на танцы, что они встречаются и хотят пожениться. Я был в отчаянии. Знал, что он не любит ее, говорил ей это, доказывал, уговаривал. А Васька, который сейчас сидит за моим столом, пьет водку, о чем-то думает, тогда стоял в сторонке и ухмылялся. Она прогнала меня. В ее глазах

я был склочник, завистник, негодяй. Осенью они расписались.

Молодожены вскоре стали моими соседями. Их дом, выстроенный Васькиным отчимом, стоял через переулок от нашего. Мы с Васькой часто встречались, но не здоровались. К ним иногда приходил Толян, и тогда из их дома слышалась музыка, веселые голоса. Я мучился, страдал. Больше так жить было невозможно, и я уехал из родного дома навсегда.

Через несколько лет я закончил строительный институт, стал работать прорабом на стройке. И вот сейчас во мне с новой силой всколыхнулась ненависть к Ваське: он воспользовался моей временной размолвкой со Светланой и женился на ней, уверен, только для того, чтобы досадить мне. Но за что? Разве я был виноват в том, что мой отец вернулся с войны, а его нет?

Наши взгляды встретились. Он будто проснулся. Лицо было помятым, глаза слезились. Я видел, что он хочет высказаться.

58 — У меня там было немало времени подумать. Все-таки десять лет дали — не десять суток. Срок отвалили порядочный, а ведь не убил. Ударил ее ножом по пьянке. Гулять стала, сука, не любила она меня. А я любил. Пить начал, не раз, грешным делом, лупил ее. Мы оба с ней поняли, что поступили гадко. А какие истерики она мне закатывала!

Развелась она со мной, когда я в лагере был, — продолжает Васька. — Матушка, царство ей небесное, написала, что ушла она, уехала. Когда я вышел, отчим, будь он проклят, дом продал и тоже куда-то уехал. Так я остался ни с чем. И вот думаю: где Светлана. Куда ей было идти? Ведь и она хату потеряла: ее матушка, долбанутая, тоже копыта отбросила. Скажи-ка, Андрей, не к тебе ли она тогда рванула?.. Как на духу скажи... Хочу Светку увидеть, попросить прощение. Ведь нельзя же так. Я свое получил...

— Все гораздо сложнее. Получил ты свое, мне-то что от этого! Ты же, сволочь, Светку чуть не убил. На волосок от смерти была, а сколько времени в больницах провела. А сейчас, видишь ли, хочешь ее увидеть, прощение попросить. Как у тебя все просто... А ну-ка давай, проваливай отсюда! Живо!

Он резко поднялся, протянул мне руку, но я не подал ему свою. Он повернулся и стремительно вышел. Я так и не сказал ему всю правду о Светлане...

Помню осенний дождливый день. Я пришел с работы, приготовил ужин. Тут раздался звонок. Я открыл дверь. На пороге стояла Светлана. Она вошла в мою квартиру. Была в стареньком ситцевом платице, постаревшая, худая.

— Из
в глаза, —
мехнулас

— Сад

Мама

которой

— Мам

нимаюсь.

да приед

И опят

кие врем

радиола

отцовские

скажу, ч

прекрасн

бы я про

...В ма

плону. К

Три дня

шел в на

Немецка

на плечи

на дверь

стал рас

ком, и в

Назвалс

кличка л

шились.

— Пол

прос. — Н

их зверс

ли. Отол

гих поли

немало

издевали

во проти

Ему с

— В н

стически

— Дру

вещ. — П

Чего мол

—Крикн

— За

— Уж

татор. —

щаем Ро

— Ме

ланды. А

шисты з

В бар

от влас

так вес

возвращ

...На г

ноплени

нее поп

— Из больницы я... — Она посмотрела мне в глаза. — Выгонишь?.. — Светлана горько усмехнулась.

— Садись к столу. Как раз ужин готов, — сказал я, добавил. — Потом все расскажешь...

Мама смотрит то на меня, то на дверь, за которой скрылся Василий.

— Мама, пойду посплю, — говорю я и поднимаюсь. — Коли что, буди. И Людмила, когда придет, пусть не церемонится.

И опять я в комнате один, как в те далекие времена. Тогда здесь были книги, стояла радиолка с набором пластинок, а сейчас вот отцовские тетради. Ему будет приятно, когда скажу, что прочел их все до единой, что они прекрасно сохранились. Он всегда хотел, чтобы я прочел их.

...В мае 1943 года исполнился год, как я в плену. К нам прибыл власовский агитатор. Три дня он ходил по баракам. Наконец пришел в наш. Он уселся за стол. Долго молчал. Немецкая шинель была небрежно наброшена на плечи. Он то и дело косился через плечо на дверь, за которой стоял охранник. Потом стал рассказывать о себе: служил воентехником, и в 42-м попал в плен, многое перенес. Назвался «Киевским», но мы так и не поняли кличка ли это, а спросить побоялись, не решились.

— Полицаев в лагере много? — задал он вопрос. — Не люблю я этих гадов. Сам испытал их зверства. Сколько они нашей крови попили. Отольются им наши слезы. Мы уже многих полицаев расстреляли. Среди них было немало коммунистических агентов. Это они издевались над людьми, вызывая недовольство против немцев.

Ему сразу возразили:

— В немецкой полиции тоже есть коммунистические агенты? В гестапо?

— Друзья мои, — будто не слышал власовец. — Прошу записываться в нашу армию... Чего молчите? Думаете, я предатель?

— Крикнули:

— За дешевку проданся! Шкура!..

— Уже и ругаться, — вроде обиделся агитатор. — Я же с вами по-хорошему. Мы защищаем Родину от коммунистов.

— Мели Емеля... Проданся за котелок баланды. А ты знаешь, сколько тут наших фашисты замучили?

В барак ворвалась охрана. Нас оттеснили от власовца, пригрозили, что если будем себя так вести, то нас отправят туда, откуда не возвращаются.

...На плацу отобрали большую группу военнопленных для отправки в другой лагерь. В нее попали все из нашего барака. Не дав

опомниться, нас погнали на вокзал. Итак, прощай Станислав!

В Перемышль мы приехали вечером. Нас погнали в Пикуличи, где был лагерь только для советских военнопленных. Он с самого начала войны был превращен в лагерь смерти. В нем было свыше семидесяти тысяч военнопленных, а ко дню нашего прибытия осталось полторы тысячи.

Мы рыли траншеи. Многие маялись животами. В лагере была больница. И врачи ее, и санитары были из военнопленных. Только главврач был немец.

— Я нахожусь здесь с самого начала, — сказал мне врач. — Не помню, что кто-то выходил из больницы живым. Люди умирают от истощения, не хватает лекарств. Так что лучше в больницу не попадать.

Мне повезло. Я попал на работу в инструменталку. Там я познакомился с людьми, мечтающими о побеге. Лагерь охраняли власовцы. Мне поручили поговорить с кем-нибудь из них. Это было рискованно, но необходимо, и я согласился. Подошел к караульному помещению, стал выжидать. Вдруг выходит вроде знакомый с лица человек. Пригляделся я: мать моя родная — Петр Гаркал. Вот так встреча! Я растерялся, а он смутился, хотел пройти мимо, но я загородил ему дорогу.

— Как же так. Выходит, предал. Знать бы, в болоте тогда утопил. Чуть фашист за тебя очередью не срезал.

— Устал я в ожидании смерти, — начал он оправдываться. — Убивали, вешали, истязали. А я домой хотел...

— Теперь-то дорога тебе заказана.

— Не ты ли будешь меня казнить и миловать? — Его глаза недобро блеснули. — Я-то вернусь, а вот ты... Придет время, форму эту вонючую выброшу. Кроме тебя, меня никто не знает. Вот шлепну, и дело с концом. А после войны буду сюда приезжать и класть цветы к памятнику замученным военнопленным, если его вообще здесь когда-нибудь поставят.

— Негодяй! — оборвал я его. — А ведь ты был человеком. Получишь, предатель, по заслугам.

Петр вскинул карабин. Дело принимало скверный оборот. Смерти я не боялся. Не раз смотрел ей в лицо. Но что приму ее от Петра Гаркала — во сне не могло присниться.

— Не паникуй, Петр, — сказал я с легкостью, чем сразу обескуражил его. — Хочу поговорить откровенно. Ты думаешь, я бы тут зря околачивался? Мыслишка у нас есть...

— Я сразу все понял, как только тебя увидел. — Он опустил карабин. — Выкладывай...

— Сам знаешь, вас тут взвод. Красная Армия близко. Есть шанс искупить свою вину. Вы еще сможете спасти жизнь многим нашим.

— Мы перебьем немцев, вы получите оружие и перестреляете нас, предателей, — усмехнулся Гаркал. — Наши на это не пойдут. И вот что. Услуга за услугу. Ты спас меня, я сейчас спасаю твою жизнь. Уходи!

Я повернулся и ушел. Но выдал все-таки меня землячок. Убить-то меня у него духу не хватило, так решил немецкими руками со мной расправиться. На вечерней поверке я был отведен в карцер. Меня поролли плетьюми, подвешивали за руки и за ноги. Ничего не сказал мучителям. Я выстоял. Гаркала, как потом мне сказали друзья, военнопленные, они поймали и расстреляли.

Меня перевели в капут-команду. Мы хоронили умерших военнопленных. Нас крепко охраняли. Время от времени, чтобы скрыть следы преступлений, немцы расстреливали всех, потом набирали новых. Казалось, выхода не было.

К осени военнопленные в лагерь не поступали, а рабочая сила фашистам была нужна. Мы рыли траншеи, строили укрепления. Нас стали лучше кормить. В лагерь ежемесячно наезжали врачебные комиссии, отбирали крепких и отправляли на работы в Германию. Охранять нас стали не так строго. Появилась надежда бежать.

18 сентября 1943 года, как обычно, раздался сигнал на вечернюю поверку. Мы, решившие бежать, стояли рядышком. Говорить было не о чем. Нас трое, и мы даже не знали настоящих имен друг друга. Поверка окончена. Пленные стали расходиться по своим баракам. Мы отделились от всех, зашли за барак, прижались к стенке.

Осторожно поползли к изгороди. Коля-большой с кусачками впереди, я за ним. Коля-маленький ползет последним. Коля перерезал проволоку, шепнул: «Готово». Ползем дальше. Удачно минуем вторую стену, подползаем к третьей. По тротуару ходят немцы. Собаки с ними нет. Надо спешить. Прожектор светит чуть-чуть в сторону. Коля-большой перерезал проволоку и оказался на той стороне. Луч прожектора осветил нашу сторону, ударил пулемет. Коля-большой был сразу же убит. Коля-маленький крикнул: «Назад...» Но назад было уже поздно. Выли сирены, били пулеметы. Я кинулся в кукурузу, пополз.

Когда поднял голову, то понял, что нахожусь на кладбище для военнопленных. Местность мне знакомая. Стрельба не утихает. От ракет совсем светло. Я поднимаюсь и бегу к кустарникам. Сзади залаяли собаки. Идут по следу. Это уже плохо. Ракеты осветили речушку. Вот оно, спасение. Долго иду по воде вдоль берега. Часто проваливаюсь в омуты, всплываю и бреду дальше. Наткнулся на большую березу у самого берега. Вползаю под

обнаженные корни, срываю камышинку, беру в рот, ложусь на дно. Не помню, сколько пролежал под водой. Окоченел. Когда уж совсем стало невтерпёж, вынырнул, выплыл из-под корней. Было утро. Светило солнце. Выбираюсь на берег, и пошел на запад, а не на восток, куда, вероятно, были перекрыты пути. Я еще повоюю. Я еще отомщу за смерть многих и многих...

Дальше ничего нельзя было разобрать. Большая стопка тетрадей, совершенно испорченных, лежит в сторонке. Какая досада! Как воевал отец, как брал Берлин — все в них! Жаль, что я не забрал эти тетради раньше. Складываю их в свой саквояж. Надо бы все-таки расспросить обо всем отца. Вот только он проснется. Заходит в комнатку мама, губы ее подергиваются, она плачет. «Андрей, отец-то умер», — еле выговаривает. Во рту у меня пересохло.

Он лежал в такой же позе, в которой я оставил его, и умер, по-видимому, сразу, как только я вышел в сенки за рукописью. В комнате тишина. Мама скорбно сидит у кровати. Хлопнула калитка. Наверное, Людмила приехала. Надо встретить ее. Иду к двери и на пороге сталкиваюсь с незнакомым мужчиной. Он высок, плотен. На нем серый костюм, белая рубашка и яркий галстук. Стоит, широко разведя руки. Не Толян ли? Гляжу на него и не узнаю.

— Андрюха, черт тебя побрал! — радостно говорит он. — Где пропадал столько лет?..

Мы обнялись. Он прижал меня так, что хрустнули все мои косточки. Вдруг Толян обмяк, опустил руки, и я понял, что он увидел в комнате умершего отца.

Еще раз хлопнула калитка. Это Людмила. Я узнал ее шаги — неторопливые, твердые, и размеренный перестук каблучков по бетонным плитам кузнечным молотом отзывался в моем сердце.

МНЕ МАМА ЧАСТО ГОВОРИЛА...

Никогда не забуду свою первую смену в лаге на шахте «Зыряновская», что в Новокузнецке. Помню, отбурили мы ее длинными штангами и зарядили шпур. Вышли на вентиляционный штрек, уселись на затяжки, прижались друг к другу. Звеньевой крутнул ключом в машинке, и тут же раздались взрывы.

После проветривания спустились мы в забой: угля вывалило много — от почвы до кровли. Хорошо мужики бурят.

Монотонно гудит конвейер. Мелькают лопаты. Отшлифованные лезвия отражают лучи

инку, беру
олько про-
уж совсем
ыл из-под
Выбира-
не на во-
ты пути.
ерть мно-

азобрать.
но испор-
сада! Как
се в них!
раньше.
о бы все-
т только
ама, губы
й, отец-то
меня пе-

рой я ос-
разу, как
ю. В ком-
кровати.
ила при-
ери и на
ужчиной.
стюм, бе-
широко
на него и

адастно
лет?..
так, что
олян об-
н увидел

юдмила.
ердые, и
бетонным
я в моем

смену в
Новокуз-
линскими
на вен-
ки, при-
нул клю-
взрывы.
ы в за-
до кров-
от лопа-
ют лучи

светильников. Я держусь, мысль-то одна — не отстать бы от напарника. Бросаю и бросаю уголь на транспортерную ленту. С непривычки начинают ныть руки, а лопата уже крутится у меня, как веретено. Только очистили забой, надо его закрепить. В темпе рубим стойки, ставим их, обшиваем досками — и снова начинаем бурить. Ух ты, мать честная!..

В детстве мама мне часто говорила: «Учись, Толя, учись хорошо: на инженера или, на худой конец, на учителя. Будешь сидеть в конторке в тепле и сухости, а не мантулить в шахте, как твой отец. Упаси Бог...» А когда после школы я все-таки пошел в шахту, а не в институт, мама слегла. Отец, надо отдать ему должное, сказал ей: «Ты, мать, оставь. Пусть сам выберет себе дорогу в жизни. Не мешай ему и не ахай!..»

Вспоминаю рассказы бывалых шахтеров, которые говорили, что после смены они бегут к стволу изо всех сил. И я недоумевал — почему? А отец посмеивался: дескать, поймешь, когда сам испытаешь. И вот сейчас, не успев звеньевой крикнуть: «Отбой», как все оказались на вентиляционном штреке. Спешу последним. Сзади потрескивает кровля, из луж пузырится метан — этот адский газ, нагоняющий страх на шахтеров. Мне уже кажется, что трещит сбоку, впереди, что еще миг — и кровля рухнет. И вот бегу, откуда силы взялись. В конце смены, казалось, выдохся, что еще бы немного — и свалился бы на кучу угля. Может, мама была права — не надо мне было лезть в эту шахту?

Прошло несколько таких недель, а потом и месяцев. Теперь я не был зеленым новичком, каким пришел на шахту. В лаве работал с хитринкой: не силой брал, а ловкостью. Глядя, как я рывком сначала на согнутые колени, а потом на грудь поднимаю бревно и легко вталкиваю верхний конец под кровлю, старые забойщики говорили: «Парень-то далеко пойдет... Дай ему Бог хорошую невесту...»

Эта похвала была для меня дороже любой награды. А вот невеста у меня была. Несколько лет дружили, сидели за одной партой. И поцеловались первый раз после выпускного вечера. Мы любили друг друга, почти всегда были вместе. И родители наши знали об этом, готовились к свадьбе. Мы вместе подали документы в пединститут. Но потом я передумал, поступил на шахту. И бросила меня Наденька. А через год вышла замуж. Тогда я не хотел больше жить. И только шахта спасла меня, сделала сильным и суровым.

Наша новая лава имеет наклон в десять градусов. В ней работать — одно удовольствие. Я как-то был на соседнем участке. Там пласт угля залегает почти вертикально, лава — под шестьдесят градусов. Забойщики хо-

дят по стойкам, держась друг за друга — того и гляди загремишь вниз, так что потом ни один хирург не соберет.

Снизу, с конвейерного, крикнули:

— Какого черта не спускаете крепеж? Спите там, что ли?..

Звеньевой Аброськин подошел ко мне:

— Толя, сбегай-ка на вентиляционный, узнай, в чем там дело?

Иду по дорожке вверх. Справа — пласт угля с тончайшими прожилками белой породы. Вытаскиваю кусочек, как штукатурка. Бросаю в завал, попадаю в стойку, слышу глухой стук. Сверху посыпалась мелкая крошка. Оглядываюсь. Тихо. Почти весь уступ, который мы сегодня «взяли», не закреплен. Кровля сильно давит. Это видно по стойкам, которые уже поскручивало в спиральки, и по ним стекает вода. И мне кажется, что стойки плачут. Ну, за какие грехи лес вырубил, а потом послал в шахту на крепеж. А вдруг стойки не выдержат? А тут люди, смена!

Быстро поднимаюсь на вентиляционный штрек. Луч фонаря выхватывает из темноты спящего на затылке человека. Узнаю Федюшку Харина. Пришел он в шахту раньше меня почти на год. Такой толстый, трусливый, лодырь из лодырей. Подфутболил я его левой под зад, и он свалился в грязную лужу.

— Ты чего, гад, дрыхнешь? Вчера на танцах в горсаду был, Елену приглашал, и как она с тобой, оболтусом, еще танцевала! Ты, гаденыш, лаву завалишь. Почему лес не спускаешь? А вдруг завал, людей погубишь! Да из-за таких, как ты, сколько уже случаев было!..

Федюшка вскакивает, таращит глаза.

— Без тебя, парень, знаю, что делать... А Елена... Видел я, как она тебя бортанула. Нужен ты ей, сопляк...

Я размахнулся и влепил ему по морде. А тут звеньевой Аброськин подскочил.

— Федя, что ты тут делаешь, хрен ты собачий. Лаву крепить надо, а ты лес не спускаешь. Вдвоем давайте, быстро. А после смены мы с тобой, Федя, разберемся, — пригрозил Аброськин.

Бросаю на конвейер тяжелые бревна, и они уезжают вниз.

Харин кричит:

— Будет, пацан, будет. Валяй на свое место, я без тебя тут...

— Иди ты, — огрызнулся я, — еще по морде получишь. Аброськин сказал, чтобы я тут тебе помогал, и заткнись. Не мешай... Опять заснешь... Да ты Елене и на дух не нужен.

— И пошутить нельзя, — запыхтел Харин, — давай, вкалывай, если хочешь.

Умаялся я в ту смену вусмерть. Иду в мойку и вспоминаю, как мне Елена говорила:

— Не обижайся, Толян. Знаю, что ты хороший парень, честный. Мне Федя много о тебе рассказывал. Просто я не хочу встречаться с шахтерами. Муж мой в шахте погиб, будь она неладна. Осталась я с малолетним сыном.

...Идем гуськом к стволу. В лицо бьет струя воздуха. Аброськин говорит: «Что-то тебя, Толя, в последнее время в общаге не видно. Ты у нас больше года работаешь, а так ни с кем и не подружился. Приходи-ка в мою комнату, в шахматы сыграем. Слышал я, что ты в этом деле мастак...» Соглашаюсь с Аброськиным, что я не очень-то общительный. Не хочется говорить, что мотаюсь между шахтой, общагой и родительским домом.

...Мы прожили с Еленой более тридцати лет. Дети выросли, поразлетелись по разным краям. Все эти годы я шел своей дорогой, и моя первая лава была моей путеводной звездой.

Эти воспоминания я написал в день национального траура по погибшим горнякам на шахте «Зыряновская». Там я работал и жил в общаге, там получил путевку в жизнь. И мы с Еленой склоняем головы перед памятью погибших.

ПРИЗНАЛИ

Сдан последний экзамен. В общежитии шумно. В одной из комнат целый склад чемоданов и рюкзаков. Главная тема бескончаемых разговоров — предстоящий отъезд на преддипломную практику. Что готовит нам день грядущий? Нам, учащимся Кемеровского индустриального техникума?

Вот и Новокузнецк. Наше первое пристанище — городской сад. Здесь мы долго и нетерпеливо ждем сопровождающего, который уехал в трест «Куйбышевуголь». Наконец он появляется и после минуты интригующего молчания объявляет:

— На «Зыряновскую» — все пятнадцать человек.

Распоряжение главного инженера шахты: все ребята на один участок в одну лаву по пять человек в смену. Мы прошли инструктаж, получили спецодежду и инструмент. И тут к нам проявляет интерес нормировщик участка — маленький лысоватый человечек Бронштейн. Он приглашает нас к себе. Заходим в большую комнату, выстраиваемся несокрушимой стеной. Все мы были в форме: в черных суконных кителях, брюках. Металлические пуговицы на кителях блестели, как серебро. Бронштейн, осмотрев нас, дает первый залп:

— Это что же, в забой и все по пятому раз-

ряду? Выходит, кадровые шахтеры будут вас обрабатывать? А сколько денег вы у них отнимете? Да они же не согласятся, такой шум поднимут, тошно всем будет! И меня взашей выгонят отсюда. Нет-нет, оформляю по третьему разряду...

На него грозно надвигается наш общий любимец Кеша: рост сто девяносто, баскетболист. Поднял перед собой руки, будто держит мяч и вот-вот швырнет его.

— По третьему, говорите, учениками, значит... Ха-ха!...

— Ха-ха!... — прокричали мы дружно.

Бронштейн зажал уши, втянул голову в плечи.

— Да прежде, чем поступить в техникум я два года в шахте горбатился, стаж зарабатывал. Без такого стажа никого и не принимали, понимаешь, чернильная твоя душа! Забойщик пятого разряда — вот книжка...

— Ладно, ребята, не будем ссориться. Я ведь тоже когда-то студентом был. У кого есть такие книжки, выкладывайте. А у кого нет...

62 — Мы не новички в горном деле, все-таки четвертый курс, — сказал я.

Звонит телефон. Разговор короткий, но — видно по лицу нормировщика — не очень он ему понравился. Положив трубку, сердито ворчит:

— Главный приказал, а я — умываю руки. Черт с вами, оформляю всех по пятому...

Я предложил ребятам:

— Надо бы обмыть дорожную пыль. Идемте в мойку, я знаю, где тут она.

Дружно пошли мыться. Зашли в раздевалку, разделись, подали одежду улыбающейся гардеробщице. На шахте, оказывается, уже все знали, что на практику студенты КИПа приехали. Заходим в моечное отделение. Моложавая женщина-уборщица готовит мойку для очередной смены, увидела нас, нисколько не смутилась. Подошла ко мне, сказала:

— Ага, попался...

Что к чему, я так и не понял, только сказал: «Тьфу!», и зашел в кабину.

Первая пятерка пошла на смену. Раннее утро. В раскомандировке толчея. Наш бригадир Аброськин возмущается.

— Нам нахлебники не нужны, да и нянчиться с ними нет времени: обучать, рассусоливать, мать их так-рассяк, свалились на нашу голову. Тут не интернат, а шахта, запнется кто-нибудь, морду расквасит, а я — отвечаю... Да и своих дармоедов девать некуда, так из Кемерова еще подбросили.

— Ладно, Аброськин, чего расшумелся? Ребята, гляди, крепкие, взрослые. Многие в шахте поработали, — урезонил его начальник участка, — наша смена, а ты, друг, даже не хочешь понять это. А еще бригадир...

Нам бы признавали кин, поста к нашему, среди нас видел. Как не знал.

— Как т вот что, си нерке книг таких. Буд

Валин за нятия не и

— А как или нижн

— Обе,

ник нашел что сибирс

«брат» ни в мою стор

его лице. —

нал тебя и шел ко мн

Это же на ну надо ж

Все заш вительно у

нялась, и ваться.

Приступ

щая смена

ным надо кровлю. А

вся бригад части кон

на новую

всю длин

и вся пре

ставить вс

Пришел

ши были

по плечу:

салага уп

жет, выйд

ный он че

Без ЧП

смену это

слал на

вать брев

Самая пр

но выпол

ворится, е

нам брев

установи

стал откл

не ладил

Аброськи

что-то ме

И тут

верх. Сгр

Нам было неловко и обидно, что нас не признавали, обозвали нахлебниками. Аброськин, постаревший, погрузневший, повернулся к нашему товарищу Валину — единственный среди нас молодой, шахту еще и в глаза не видел. Как он попал в наш техникум, никто не знал.

— Как твоя фамилия? Валин, значит... Так вот что, сибирский валенок, ты чего на планерке книгу читаешь, кот ученый, видали мы таких. Будешь «брат» нишу...

Валин закрыл книгу, выпучил глаза. Он понятия не имел, как ее «брат».

— А какую нишу, — спросил я, — верхнюю или нижнюю.

— Обе, — повысил голос Аброськин, — умник нашелся. Но меня не проведешь, вижу я, что сибирский валенок еще салага. Ты будешь «брат» ниши, и смотри у меня. — Он вперил в мою сторону взгляд, и что-то шевельнулось в его лице. — Толян, черт тебя побрал, еле узнал тебя в этой форме, ну и ну... — Он подошел ко мне, я встал с места, и мы обнялись. — Это же наш парень, работал у меня в звене, ну надо же...

Все зашумели, заулыбались. Кто-то действительно узнал меня. Обстановка резко поменялась, и мы дружно пошли в мойку переодеваться.

Приступаю к делу. Хорошо, что предыдущая смена отпалила обе ниши. Нам с Валиным надо отгрузить уголь, закрепить бока и кровлю. А потом уж дело техники — в ниши вся бригада толкнет хвостовую и головную части конвейера, перекинет рештаки и цепи на новую дорожку. Пустоты... От них мы на всю длину лавы отгородимся бревнами. Вот и вся премудрость. А стойки, конечно, будет ставить вся бригада.

Пришел Аброськин, оглядел крепление. Ниши были чисты, просторны. Он хлопнул меня по плечу: «Молодец, Толян, моя школа. А этот салага употел. Учи его, гоняй как следует. Может, выйдет из него прок. Но, думаю, случайный он человек в нашем деле».

Без ЧП все-таки не обошлось. В ночную смену это произошло. Валина бригадир послал на вентиляционный штрек перебрасывать бревна с конвейера на конвейер в лаву. Самая простая работа, помнится, ее постоянно выполнял Федюшка Харин. Сила, как говорится, есть, ума не надо. Валин и посылал нам бревна, а мы их снимали с рештаков и устанавливали под кровлю. А тут как назло стал отключаться двигатель конвейера, что-то не ладилось с пускателем. Работа шла плохо. Аброськин матерился: не любил он, когда что-то мешает делу, выбивает из колен.

И тут раздался вопль. Мы бросились наверх. Сгрудились у хвостовика. Рядом лежал

Валин. Его руку затянуло под цепи. Что делать? В любую минуту мог включиться пускатель конвейера, и тогда от Валина останется измолоченный кусок мяса. Машинист комбайна ножом отрезал рукав куртки. Руку Валина размолотило по самый локоть. Из раны хлестала кровь. Аброськин, этот бывалый шахтер, стоял и не знал, что делать, челюсть его дрожала. А рука-то держалась на сухожилиях. Я взял топор да и отхватил Валину руку по локоть. Вытащили мы его, а он в шоке. Перетянули руку, а тут и санитары-спасатели подоспели.

Со всеми забойщиками в бригаде у нас завязалась крепкая дружба. Работали мы здорово. О ЧП вспоминали редко. А ко мне все стали относиться с уважением: как же, спас Валину жизнь.

Как-то к нам в общагу пришел Аброськин. Это был воскресный день. Собрал он нас, сел за стол поудобнее, расчесал седые волосы, начал:

— Ребята, молодцы вы... Честное слово, мне иной раз стыдно за то, как я вас «полоскал». Дружные вы, житейские, крепкие. Словом, настоящие мужики.

— Ближе к делу, Иван Петрович, — сказал я.

— Вот я и хочу предложить вам создать свою студенческую бригаду. И бригадир у вас есть, — он кивнул на меня, — моя школа. И с начальством я договорюсь. Ну, как?.. Кто — за?..

Мы все дружно проголосовали. Вот оно, пришло ПРИЗНАНИЕ.

Вскоре, получив диплом, я приехал на эту шахту и стал работать горным мастером, да на том же самом участке. Мы с Аброськиным стали закадычными друзьями. А о знаменитой студенческой бригаде постепенно все забыли. Мы работали хорошо, даже поставили рекорд суточной добычи. Но я-то не забыл и надеюсь, что когда-нибудь молодое поколение пройдет по нашему пути. Или найдет свой...

* * *

Более тридцати лет назад я приехал из Новокузнецка в Кемерово учиться. Поступил в индустриальный техникум. В нашей группе собрались сибиряки, уральцы, дальневосточники, белорусы и украинцы...

Учились мы на Новой Колонии, питались в столовой «Азота». Трехэтажное кирпичное здание находилось неподалеку, деревянные двухэтажные общежития рядом. Помню, меня поразила грязь, пыль и газ, и этот унылый деревянный город.

Четыре года мы учились, жили дружно. К нам на танцы приходили девушки со всего го-

рода. Многие поженились на кемеровчанках. О жизни и учебе в техникуме можно было бы многое рассказать. Большинство учеников техникума остались в Кемерове, но многие и уехали, разлетелись по разным городам СССР.

Виктор Моисеев, с которым мы учились в одной группе и жили в одной комнате, стал журналистом, более двадцати лет проработал в газете «Кузбасс». Виктор Козько, начав писать еще в техникуме, вырос в заметного писателя, ныне живет в Минске. Помню, мы часто его ругали за то, что он по всем ночам писал при свете лампы и не давал нам спать.

Честь техникума и города, да и всего Кузбасса защищали такие спортсмены, как чемпион мира по греко-римской борьбе, заслуженный мастер спорта новокузнецчанин Валентин Оленик, мастера спорта киселевцы Benjamin Волков и Александр Денисов, кемеровчанин Иван Внуков и автор этих строк, первоурядники — борцы читинец Ворсин, кемеровчане — Караганов и Пономарев.

Большую славу техникуму и городу создали чемпион СССР по боксу Роберт Сиротин, член сборной команды страны в беге на сто метров Александр Архипов. Да всех и не перечеислишь. Мне думается, что само руководство техникума, ныне колледжа, не знают или давно забыли, кто у них учился.

Ныне ученики техникума, многие из них, стали учителями, инженерами, руководителями предприятий. К сожалению, некоторые ушли из жизни. Не буду перечислять их имена, для меня они все живы и воплощаются в моих рассказах и повестях.

РОДНИК

Такой морозной и снежной зимы не было в здешних местах лет пятьдесят. Игнатцев с Масюковым шли по заснеженному полю, и ветер чуть ли не валил их с ног. Мороз был в этот день небольшим — около двадцати, но из-за ветра, который обжигал лицо и продувал пальто, как сито, казалось, что все сорок. Поле открытое, несколько сот метров им предстояло пройти до Березовой рощи, где находилась загородная дача Масюкова.

Он вчера вечером, наверное, часа два уговаривал Игнатцева провести с ним субботний день вместе: погулять на лыжах в роще, посидеть в домике у печки, побаловаться крепким чайком с вареньем и, конечно, вволю напиться воды из знаменитого Рощинского родника.

Признаться, Игнатцеву и самому захотелось встретиться с зимней спящей Березовой рощей. Он любил тишину, чистый снег, и в его

воображении уже рисовались красивые и стройные березы.

...И вот бредут они по пояс в снегу. Встречный ветер швыряет в них целые охапки снега. Сплошная белая стена возникла перед ними — ни впереди, ни позади — ничего не видно. В какую сторону двигаться? По прерывистому дыханию, по кашлю старика Масюкова, Игнатцев чувствовал, что он рядом с ним. Вдруг его нога ступает на твердое, и он выбирается на тропу, кричит:

— Изан Данилыч, давай руку, тропу нашел.

Они стоят на узкой тропке. Масюков смотрит под ноги, медленно идет вперед. «Смотри направо, вешки!» — кричит он. — Перед нами человек прошел, тропу пометил».

Теперь Масюков идет уверенно, а Игнатцев то и дело проваливается в сугроб, барахтается в снегу. И черт его, Игнатцева, дернул потащиться на эту дачу, сидел бы сейчас дома, смотрел бы телевизор, почитывал газету.

Ближе к роще тропа была заметнее, тверже и пошире. И вешки были хорошо видны. Человек прошел недавно: его следы отчетливо вырисовывались на снегу. Видимо, человек отлично знал дорогу, потому что ни разу не провалился в сугроб. Он втыкал в снег вешки, будто знал, что за ним обязательно пойдут люди, несмотря на плохую погоду, что могут заблудиться, если не пометит дорогу. А заблудиться — это значит погибнуть. Кто этот человек — охотник, лесник, геолог? Что заставило его в темень, пургу и мороз поехать за город? Видимо, Масюков, как и Игнатцев, думал о неизвестном, потому что, войдя в рощу, без сил свалившись в сугроб, сказал:

— Если бы не этот парень... И поплутали бы мы с тобой. Из моих-то соседей-дачников вряд ли кто осмелился сегодня поехать сюда. Это кто-то из «чужаков»...

Игнатцев, привалившись к березе, глубоко дышал. Его пальто было покрыто тонким слоем льда и снега. Рубашка под свитером промокла от пота и он вскоре почувствовал, как тело начало остывать, зазнобило. Тут Масюков, кряхтя, поднялся, и они вновь пошли по тропе, которая уже петляла между берез. Пурга неожиданно прекратилась, видимость стала хорошей. В разрывах низких туч выглянуло солнце, и снег заискрился, заслепил глаза.

— Скоро, Павел, будем у родничка, а дача моя — за ним. Родничок, поди, снегом завалило, а жаль — водица отменная, от желудка помогает. Родничок и зимой не замерзает. Ах, какая водица! — причмокнул Масюков и облизал сухие потрескавшиеся губы.

Они были на полпути от родника, когда впереди увидели человека. Его размашистый

красивые и
егу. Встреч-
охапки сне-
а перед ни-
его не вид-
то прерыви-
Масюкова,
дом с ним.
е, и он вы-
ропу нашел.
сюков смот-
ед. «Смотри
Перед нами

а Игнатцев
б, барахта-
ева, дернул
сейчас до-
вал газету.
нее, тверже
видны. Че-
отчетливо
мо, человек
ни разу не
в снег веш-
тельно пой-
погоду, что
т дорогу. А
ь. Кто этот
Что заста-
поехать за
гнатцев, ду-
дя в рошу,
зал:

поплутали
ей-дачников
ехать сюда.

зе, глубоко
тонким сло-
нтером про-
твовал, как
Тут Масю-
ь пошли по
жду берез.
видимость
туч выгля-
слепил гла-

чка, а дача
гом завали-
от желудка
мерзает. Ах,
юков и об-

ника, когда
измашистый

шаг и легкая походка говорили о том, что это молодой мужчина. Не он ли ставил вешки? Дачники поравнялись с ним, остановились. Каково же было их удивление, когда они увидели пожилого человека лет семидесяти, в полушубке, заячьей шапке, в валенках. На руках меховые рукавицы, в правой — бидон-термос.

— Здравствуйте, ребята, — усмехнулся незнакомец (они представляли собой печальное зрелище — уставшие, в сосульках). — За водицей?..

— Мы на дачу, — ответил Масюков.

— А-а... Туда дороги нет. Пробиваться надо...

Он пошел дальше, стремительно и легко.

Ветра уже не было, но мороз стал крепчать. Игнатцев шел за Масюковым и думал о пожилом человеке, но стариком-то назвать его нельзя. Ну не чудило ли? Сидел бы дома в такую погоду.

— Вот и родник! — воскликнул Масюков. — Старина расчистил его, откопал... Другой бы плюнул и ушел. А это, человек, старой закваски...

Игнатцев огляделся. Вокруг — горы снега. У родника ровная площадка. Из отвесной, скошенной горы, прямо у ее подножья, торчит чугунная труба, из которой струйкой течет минерализованная вода. На морозе она дымится, словно льется из самовара. В снег воткнута палка с куском фанеры. На ней надпись: «Деревья и кустарники не вырубать, землю не копать. Исчезнет родник». Старик, видимо, использовал эту палку с фанерой вместо лопаты. Станный... Откопал родник и ушел.

— А вон моя дача, — махнул рукой Масюков в ту сторону, где из-под снега виднелась часть крыши с трубой... — Не пробиться. Ну, Паша, такого еще здесь не было...

Масюков был хмурым, потом повернулся и пошел обратно. Игнатцев понял, что нелегко ему, Данилычу. Сам же пригласил, а до места не довел, не попили ни чайку, ни водицы. Но у Игнатцева было другое чувство: он думал о том, что не напрасно потерял выходной. На душе было светло и радостно.

Навстречу изредка шли люди с бутылками в рюкзаках, кто-то тащил за собой санки с флягами. Все они шли за живительной водой, к роднику, по тропе, которую пометил для всех странный человек.

г. Кемерово

Семен ПЕЧЕНИК



ОДЕССА — ЛАСКОВАЯ МАМА

Повторяются липы намокшим асфальтом,
Провода, указатели, вспышки реклам.
Где-то песенка льется и бархатным альтом
Зазывает прохожих к увядшим цветам.

То порывисто осень, то медленно, мягко
Наступает, чтоб город прохладой обдать.
Сонно. Вяло. Одни светофорные маки
Все цветут и цветут, не хотят увядать.

Свежий ветер лихачит у речки на скате.
Прилетел он хозяйничать, а не гостить.
Мы идем по проспекту — развернутой карте,
Беззаботно смеемся, хоть время грустить.

Гонит к дому погода шальная, сырая.
А в проулке, где тихо и света поток,
Проявилась двускатная крыша сарая,
Как старушечий, в желтых листочках
платок.

Еще будут и звезды и поздние яблоки.
Их со смехом и хрустом ребятишки съедят.
Будут новые осени, правда ведь, бабушка, —
На платочек твой новые листья слетят...

ОДЕССА

Над Хаджибеевским лиманом
Осенний движется туман.
Одесса — ласковая мама.
В душе здесь каждый — капитан.

Негоцианты, нувориши,
И полководцы, и воры
Свои имеют пирсы, крыши,
Свои сокрытые «дворы».

Кого Одесса не качала
На спинах волн за двести лет.
Здесь с рейдом, с гомоном причала
В родстве одесский каждый шкет.

Поэты, жулики, святоши,
Рабочие и рыбаки...
Звенят гроши.

А были — гроши! —
Пошучивают старики.

На крепком на морском рассоле
Настояны дедов слова.
Одесса — сердце в нимбе боли —
Проста. Сложна. Мертва. Жива!